

# Защита Лужина

Роман

# 1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». — «Как хорошо... — сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. — Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето — быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, — все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец

с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монтекристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: «Бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только шурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои колени, — расчесанный до крови волдырь, белые следы

ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, французенка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы — которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, — нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим ужасом, французенка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, — неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. — Скажу ему погода, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих «ять», и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась французенка. Но ничего такого не слу-

чилось, он слушал спокойно, и когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («Не ерзай так», — опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, — трепанный, теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден\*, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» — спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», — сказал сын, гля-

\* Плотная валяная шерстяная ткань тоньше сукна. Здесь имеется в виду свободный плащ, напоминающий накидку.

дя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащiku, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, — постоянное движение, почти тик, — посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лододне, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образуя долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясицы маленького Лужина. «Лужин, — сказал он с деланой веселостью, — а, Лужин?» — и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», — льстиво сказал Лужин-старший, когда сын выпрыгнул из коляски и устоялся в землю, поводя шеей, ко-

тору ю щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползли француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забиравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеком\* в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда — белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колол дрова. Вдруг туман слёз скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, — отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, но-

\* Хлыст для верховой езды в виде тонкой палочки с ременной петлей на конце.

сильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням — битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, — дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, — и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, — он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, — и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с француженкой — всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, — никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался — не столько потому, что с раннего детства любил привычку,

сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, — и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки, — выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Конечно также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два — молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три — катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поведившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погода он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась

к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалился через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца матери, — черные баки, скрипка в руках, — смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, — печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездил вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибавшихся пониже, терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погода, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой

вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса — буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом, быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, — блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобрик буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и почему-то Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.